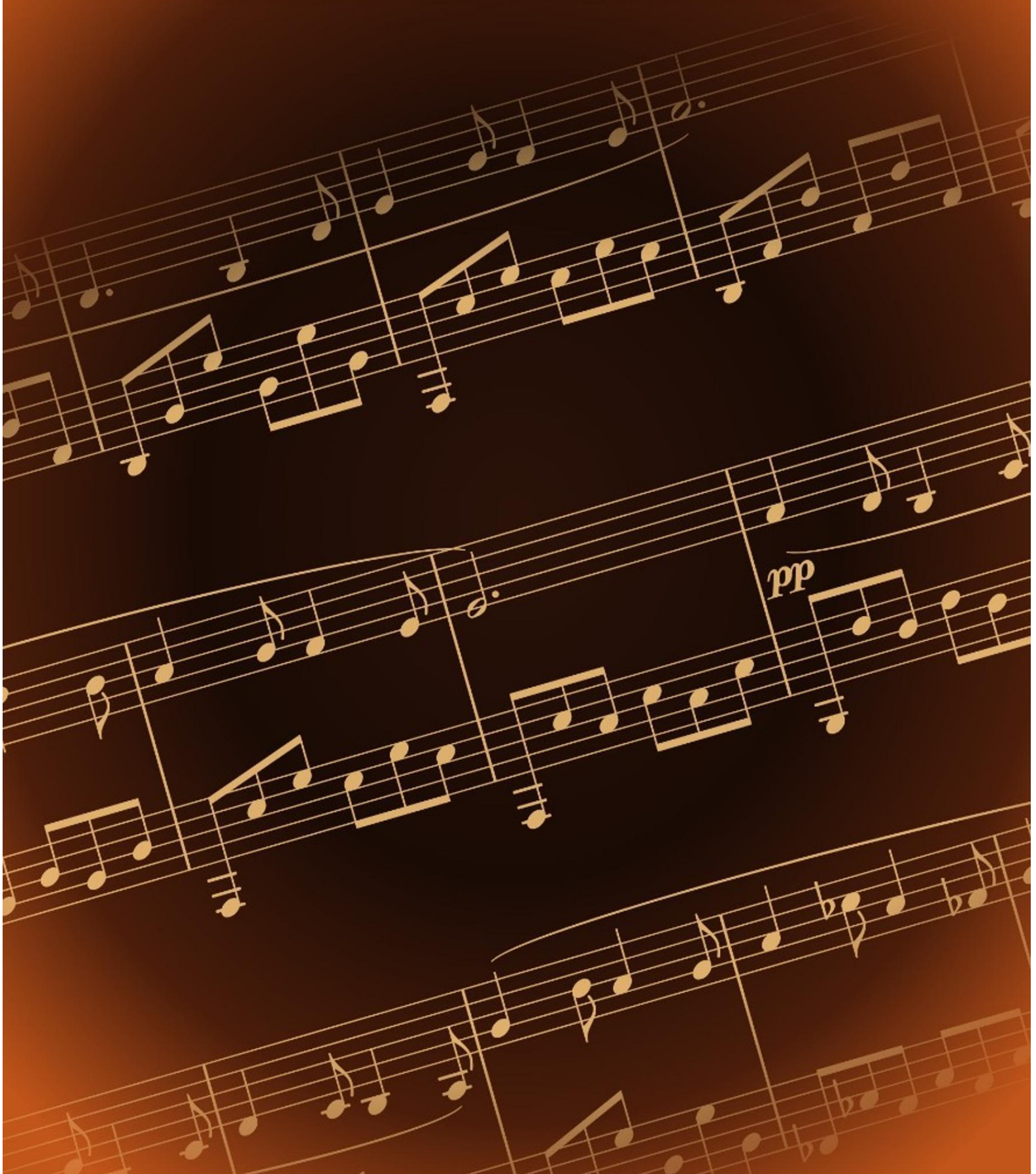
ИЛЬЯ ЧИРТУЛОВ

Сын затмения



Илья Чиртулов

Сын затмения

«Автор»
2026

Чиртулов И.

Сын затмения / И. Чиртулов — «Автор», 2026

Одна фотография. Одна колыбельная. Сто одиннадцать лет.Никите Ладыгину двадцать лет. Он студент-историк, живёт с родителями на Васильевском острове и сколько себя помнит слышит во сне одну и ту же колыбельную, хотя никто никогда ему её не играл.Весной 2026 года на практике в музее старой фотографии на Невском он видит снимок 1915 года и узнаёт на нём себя.А наутро просыпается в Петрограде пятнадцатого года. Здесь ещё жив Скрябин, лёд на Неве вот-вот тронется, княжеская семья Горчаковых двадцать лет ждёт пропавшего сына, а девушка с фотоаппаратом, кажется, знает о Никите больше, чем он сам.

© Чиртулов И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Тень на солнце 5
Глава 1. Рождённый в сорочке 5
Глава 2. Тёплая колыбель 8
Г 11
Конец ознакомительного фрагмента. 12

Илья Чиртулов
Сын затмения

Часть первая. Тень на солнце

Глава 1. Рождённый в сорочке

Санкт-Петербург, октябрь 1895 года

Осень в тот год пришла рано и сразу злая. С середины сентября тянуло с залива сыростью, Нева почернела и вспухла, а по ночам с Петропавловки бухала пушка — значит, вода опять шла вверх. Дворники на Сергиевской мели листья с утра, к полудню их наносило снова, и так до темноты: на тротуары, на ступени, на гранитные подоконники особняка князей Горчаковых.

Особняк поставил ещё прадед нынешнего князя, при Александре Павловиче, когда колонны лепили куда ни попадя. Здесь их было шесть, белых и толстых. Над подъездом на сером камне был вырезан герб: чёрный одноглавый орёл в короне, крылья врозь, в лапе длинный крест. Орёл был черниговский — род считал себя от святого Михаила Черниговского. Князь, правда, любил рассказывать по-своему: будто какой-то первый Горчаков нёс этот крест перед войском и вывел людей из тьмы. Проверять никто не брался.

Сам Ипполит Аркадьевич, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, тридцати двух лет, в предания не вникал. Вставал в шесть, ехал в полк, вечером ужинал, читал «Русский инвалид» и в одиннадцать гасил лампу. В седле сидел превосходно, стрелял недурно, солдаты его любили. Про себя он с удовольствием говорил, что у него нет ни одной интересной мысли и ни одной дурной привычки, и, кажется, сам в это верил.

Женился он поздно, на двадцать девятом году, и удивил всех. Анастасия Павловна Ростова-Нелединская была на восемь лет моложе, единственная дочь отставного дипломата, и выросла в Вене, так что по-немецки в детстве говорила охотнее, чем по-русски. В шестнадцать лет её привели к Лешетицкому. Старик послушал, сморщился, объявил, что всё сыграно неправильно, — и взял. Об этом потом рассказывали как о большой удаче, хотя сама Настя после первых уроков три месяца плакала по ночам.

Училась она у него три года. Хвалил он скупо. Однажды, правда, сказал отцу, что девочка слышит музыку раньше, чем играет, и что этому не учат. Советовал готовить к сцене. Отец кивал и благодарил, а через год вышел в отставку и увёз дочь в Петербург: пора было выезжать. Про сцену больше не вспоминали, по крайней мере вслух.

С капитаном Горчаковым она познакомилась на первом же балу, зимой девяносто второго. Танцевать он отказался — сказал, что не умеет; на самом деле просто не любил. Полчаса они простояли у окна, и он рассказывал ей про звёзды. Кроме службы, это было единственное, в чём он смыслил: в детстве при нём состоял учитель-немец, совершенно помешанный на небе, и с тех пор Ипполит Аркадьевич мог в любую ясную ночь показать на любую звезду над Петербургом и назвать её.

— А вы знаете, что от некоторых из них свет идёт так долго, что самой звезды, может, давно уже нет? — спросил он.

— Знаю, — сказала она. — С музыкой то же самое. Бетховена давно нет, а он всё звучит.

Он помолчал, будто услышал что-то важное и боялся забыть. А через полгода сделал предложение.

Обвенчались весной девяносто третьего. В доме на Сергиевской завёлся концертный «Бехштейн», и по вечерам из белой гостиной на улицу пошла музыка. Прохожие останавлива-

лись. Как-то раз под окнами собралось человек двадцать; городовой долго ходил кругом, соображая, по какой статье это числится, ничего не сообразил и встал слушать вместе со всеми.

Детей два года не было. В начале девяносто пятого доктор Ферзен — совсем молодой, только из Дерпта, но уже в моде — поздравил княгиню, велел ей больше гулять и не просиживать за роялем по пять часов. Последнего совета она не послушалась.

Родила она в ночь на четырнадцатое октября, в наводнение.

Вода тогда поднялась на восемь футов. По Сергиевской ходили волны, в подвал хлынуло, и дворник с кучером до утра таскали наверх дрова и бочки с капустой. Фонари гасли один за другим. Пролётка с Ферзеном завязла у Литейного; доктор бросил извозчика и последние два квартала проделал на носу какого-то ялика, который раздобыли у Таврического сада. В спальню он вошёл мокрый до колен, с саквояжем, и первым делом сказал:

— Ну и ночку вы выбрали, ваше сиятельство.

Рожала она тяжело. Князь двенадцать часов просидел в кабинете одетым и, если верить камердинеру, выкурил сорок папирос — камердинер потом считал окурки. К утру вода пошла на убыль. В девятом часу за стеной закричали: сперва женщина, потом кто-то другой, тоненько и очень сердито.

Повитуха Марфа Ивановна, которая когда-то принимала и самого князя, принесла младенца в кабинет, даже не обмыв. Лицо у неё было какое-то не такое.

— Сын, ваше сиятельство, — сказала она. — В сорочке родился.

Князь не понял.

— В какой ещё сорочке?

— В рубашке. В оболочке, значит. Редко так бывает. У нас говорят — к счастью. А ещё говорят…

И замолчала.

— Что ещё?

— Ничего, батюшка. Бабьи сказки.

Уходя, она шепнула кормилице на лестнице, думая, что никто не слышит: «В рубашке родятся те, кому две жизни дадено. Одну здесь, другую невесть где». Кормилица перекрестилась. Но внизу стоял камердинер, и на другой день князь услышал это уже как анекдот. Посмеялся.

Крестили через две недели в Сергиевском соборе, благо до него было два шага. Назвали Модестом, по деду с материнской стороны, — старик не дожил до внука полгода. Восприемником был полковой командир князя, генерал Обручев, громадный и седой, с голосом как из бочки. В соборе он держал младенца так, словно нёс полный до краёв бокал, и, кажется, ни разу не вздохнул. Крёстной стала тётка князя, старая фрейлина, глухая и строгая.

Когда младенца окунули в купель, все ждали рёва. Рёва не было. Модест открыл глаза — тёмные, почти чёрные, хотя у отца и у матери были серые, — и уставился на священника. Тот сбился на полуслове.

— Серьёзный у вас наследник, — сказал он князю потом, на паперти. — Прямо экзамен мне устроил.

Дома мальчика отдали кормилице и новой няньке, Акулине Фёдоровне. Ей было около пятидесяти, родом из-под Новгорода, вдова. До Горчаковых она вынянчила троих у графов Бобринских и пришла с отличной рекомендацией. Говорила мало, ходила неслышно, молилась много. Скоро выяснилось, что она знает уйму примет и заговоров и всяких историй, после которых горничные боялись идти по коридору без свечи. Княгиня привязалась к ней сразу. Князь её уважал — примерно как уважают старого унтер-офицера, который повидал больше тебя.

Очень скоро стало ясно, что Модест плохо засыпает. Не плачет, не кричит, а лежит с открытыми глазами и смотрит то на потолок, то на лампу, то в окно, словно чего-то ждёт. Акулина пела ему своё, кормилица своё. Не брало.

Недели через три после крестин Анастасия Павловна пришла в детскую с нотной бумагой. Ферзен ей ещё не позволял играть, она была слаба, но в тот вечер терпеть стало невмоготу. Она велела перенести из будуара маленький кабинетный «Беккер». Четверо лакеев волокли его по лестнице, а Акулина ворчала, что от музыки ребёнок и вовсе не уснёт.

Княгиня села и сыграла то, что придумала в последние дни. Колыбельная, ничего особенного: шестнадцать тактов в ре-бемоль мажоре, бас качается, наверху простой мотив. Только в середине он вдруг соскальзывал в минор и так же вдруг выбирался обратно.

Сыграла раз, другой. На третий Акулина заглянула в колыбель и шепнула:

— Спит, матушка. Спит, голубчик.

С тех пор колыбельная звучала каждый вечер. Записывать её Анастасия Павловна не стала: ей казалось, что записанная музыка делается чужой. Играла всякий раз чуть по-другому — то подголосок прибавит, то бас переменит. Шестнадцать тактов и минор посередине оставались прежними.

Князь, возвращаясь из полка, бывало, останавливался под дверью детской и слушал. В музыке он не понимал ровно ничего. Однажды ночью, когда жена уже спала, он спросил Акулину, как эта песня называется.

— А никак, барин. Барыня сама сложила. Для него одного.

Она посмотрела на спящего и прибавила тише:

— Вы её запомните, барин. На всякий случай.

— На какой ещё случай?

Акулина не ответила. Поправила полог и перекрестила мальчика — трижды, мелко и быстро, как крестят того, кого провожают в дорогу.

Глава 2. Тёплая колыбель

Павловск, 28 июля 1896 года

Лето девяносто шестого было коронационное. В мае в Москве венчали на царство молодого государя, и все, кто мог, поехали туда. Потом пришла весть о Ходынке, и праздник както сразу полинял. Говорили о ней вполголоса — в гостиных, на дачах, косясь на прислугу.

Горчаковы в Москву не попали. Модест был мал, князя на всё лето услали в лагерь под Красное Село, и жил он там в палатке, между учениями и смотрами. Анастасию Павловну с сыном Ферзен отправил в Павловск: сосны, воздух, никакого петербургского тумана.

Дача стояла на краю парка, недалеко от Славянки — деревянный двухэтажный дом с мезонином и большой застеклённой террасой. Купил её ещё отец князя, большой любитель вокзальных концертов. Вокзал гремел и теперь, каждый вечер, и ветер приносил через парк обрывки вальсов. Анастасия Павловна сходила туда дважды и бросила: дирижёр, по её мнению, гнал темпы так, будто опаздывал на поезд.

Модесту шёл десятый месяц. Крупный, крепкий, он уже сидел, ползал по ковру с поразительной быстротой и пробовал вставать, цепляясь за прутья кроватки. Говорить не пытался. Ферзен, наезжавший раз в неделю, уверял, что мальчики часто начинают поздно, зато потом их не уймёшь. Про себя, однако, доктор отмечал другое: Модест почти не улыбался. Он смотрел — на людей, на вещи, на полосу света в окне — подолгу, не мигая. Когда над ним наклонялись, он не тянул ручки, как другие дети, а хмурился и разглядывал лицо, точно сверял с чем-то.

— Профессор, — хохотал князь, приезжая в отпуск. — Чистый профессор. Вот увидишь, пойдёт в Академию наук.

Про затмение заговорили в начале июля. Газеты печатали карты: полная тень пройдёт по Норвегии, по Лапландии, через Новую Землю, Сибирь и дальше на Японию. Туда снаряжали экспедиции, в «Ниве» рисовали учёных при огромных трубах. Петербургу доставалась половина: луна должна была закрыть солнце едва наполовину, днём, около половины третьего. Но и этого хватило. Цветные стёкла на Невском расхватали за неделю, гимназисты коптили осколки над свечками, дамы заказывали какие-то особенные лорнеты.

Анастасия Павловна затеяла на даче маленький праздник. Князь выпросил сутки отпуска и написал, что приедет первым поездом. Позвали старого Обручева, крёстного, с двумя внучками, двух сестёр-вдов с соседней дачи, Ферзена и ещё кого-то. Велено было накрыть холодный обед на террасе и поставить на лёд шампанское. Лакей Прохор с утра коптил в людской стёкла, и гарью несло по всему дому.

Князь явился в девятом часу — загорелый, в пыли, с красными от недосыпа глазами — и первым делом пошёл наверх. Модест сидел на полу и сосредоточенно изучал собственную ладонь. Увидев отца, он поднял голову и смотрел долго, очень долго. Потом протянул руку и тронул пуговицу на кителе. Князь замер.

— Узнал, — сказал он шёпотом. — Акулина Фёдоровна, он меня узнал.

— Узнал, батюшка, — кивнула нянька. — Как не узнать.

Князь подхватил сына и подбросил к потолку. Модест не засмеялся и не испугался; только вцепился в пуговицу крепче и не выпускал её, пока его не опустили на ковёр.

С полудня он раскапризничался. Отпихивал кормилицу, швырнул на пол серебряную погремушку — подарок Обручева на крестины, — несколько раз принимался плакать безо всякой причины, коротко и тревожно, и вдруг затихал, словно прислушивался. Акулина трогала лоб — жара нет. Кормилица сказала, что зубы. Анастасия Павловна хотела остаться наверху, но внизу уже собирались гости, и Акулина сама её выпроводила:

— Идите, матушка, идите. Я уложу. Устал он, вот и куксится.

К двум часам он уснул — разом, на середине всхлипа, как засыпают наплакавшиеся дети. Акулина уложила его, опустила кисейный полог, задёрнула шторы от солнца и села рядом с вязаньем.

Внизу рассаживались за длинным столом. Обручев рассказывал, как в шестидесятом году, ещё юнкером, видел затмение в Испании и как тамошние мужики палили в небо из ружей, отгоняя чёрта, который ел солнце. Вдовы ахали. Генеральские внучки, обе лет десяти, вертели в руках стёкла и каждые пять минут спрашивали, скоро ли.

— Да уже, — сказал князь, глянув на часы. — Видите?

Не видели. Солнце было как солнце. Князь навёл стекло и показал: с правого края темнела выемка, как будто кто-то откусил от золотой монеты.

Потом заметили тени. Первым — Ферзен, на песке под старой липой у террасы. Все солнечные пятна, пробивавшиеся сквозь листву, сделались маленькими светлыми серпами. Их были сотни. Они дрожали на дорожке, на досках, на белой скатерти, на рукавах и щеках гостей.

— Камера-обскура, — объяснил князь девочкам. — Всякий просвет меж листьями — всё равно что стекло в аппарате. Оттого и солнце видно таким, каково оно теперь.

Девочки побросали стёкла и кинулись ловить серпики в ладони.

Тише делалось постепенно, и заметили это не сразу. А когда заметили, стало не по себе. Воздух посерел и загустел. Краски сникли: липы стали какого-то грязно-оливкового цвета, белое платье Анастасии Павловны пожелтело, как старая бумага. Потянуло холодом — совсем не июльским. В парке смолкли птицы. За прудом, на том берегу Славянки, завыла собака, за ней вторая.

Вдовы перестали ахать. Одна потихоньку перекрестилась. Обручев откашлялся и велел подать ещё шампанского.

Анастасию Павловну у перил вдруг что-то кольнуло под сердцем — без всякой видимой причины. Она уже хотела пойти наверх, но муж сунул ей стекло:

— Смотри, Настенька. Сейчас самое глубокое.

Она посмотрела. От солнца остался тонкий изогнутый ноготь, ослепительный даже сквозь копоть. Всё кругом было серое, плоское, будто вырезанное из картона. И в этой мёртвой тишине ей почудилось, что где-то далеко-далеко играют на рояле. Она опустила стекло, прислушалась. Ничего, только собаки за прудом.

Наверху Акулина отложила вязанье. Ей тоже хотелось взглянуть — грех, может, а хотелось. Она отвела штору, приложила к глазам стекло, которое ещё утром сунул ей Прохор, и долго шарила им по небу. Когда нашла, ахнула и перекрестилась.

На допросе она потом говорила, что стояла у окна «не дольше, чем «Богородицу» прочесть». Следователь записал: «около минуты». Может, так. А может, и дольше — она не знала. Ей показалось, что за спиной на миг стало темнее, чем за окном, как бывает, когда задуют лампу. Но она не обернулась. Свет стал возвращаться, медленно, нехотя, и снизу донёсся смех и хлопок пробки.

Тогда Акулина обернулась.

Кроватка стояла где стояла. Полог опущен, как она его опускала. Одеяльце лежит ровно, уголок отогнут к изголовью. Она подошла поправить полог и увидела, что под одеялом плоско.

Подумала: сполз к ногам, он так часто во сне. Откинула одеяло. Простынка смята, на подушке круглая вмятинка. И простынка тёплая — это слово, «тёплая», Акулина потом повторяла столько раз, будто в нём и была разгадка.

Ребёнка не было.

Она не закричала. Почему — и сама потом не могла объяснить. Может, просто не поверила. Обошла кроватку, заглянула под неё, открыла шкаф, отодвинула ширму у умывальника, посмотрела за шторами. Окно было закрыто на задвижку изнутри; задвижку она утром задви-

гала сама, боялась сквозняка. Дверь притворена. В коридоре у лестницы на табурете сидел Прохор и дремал, привалившись к стене. Поднял на неё мутные глаза:

— Чего, Акулина Фёдоровна?

— Ты кого видел? — спросила она шёпотом. — Кто тут ходил?

— Никого не ходило, — обиделся Прохор. — Я с места не вставал.

На террасе тем временем пили за благополучное возвращение солнца. Обручев рассказывал второй испанский анекдот. Девочки снова ловили зайчиков, которые понемногу опять становились круглыми. Князь поднял бокал, обнял жену за плечи и сказал, что теперь всё будет как прежде.

Эти его слова Анастасия Павловна потом не могла забыть много лет.

Акулина обошла ещё раз детскую, весь второй этаж, мезонин.Тихо, без суеты, как ищут оброненную иголку, заглядывала в сундуки, бельевые шкафы, под кровати в гостевых комнатах. Шептала молитвы. Звала его по имени, хотя отзываться он не умел. И только когда кончились комнаты, а за окнами снова стоял обычный июльский день, она спустилась на террасу.

Лицо у неё было белее скатерти. Она остановилась в дверях, и гости один за другим умолкли.

— Ваше сиятельство, — сказала она княгине тихо и ровно, как докладывают, что обед подан. — Модеста Ипполитовича нет.

Анастасия Павловна не поняла. Она смотрела на няньку и улыбалась, всё ещё держа закопчённое стекло.

— Как — нет? — переспросил князь.

— Нигде нет, барин. Я везде смотрела.

Стекло выскользнуло у княгини из пальцев и разбилось о каменную ступеньку. Секунду стояла тишина. Потом все заговорили разом, загремели стулья, кто-то бросился к лестнице. Князь взлетел наверх первым, через три ступени, как когда-то брал учебную стенку в Павловском училище.

В детской было светло и тихо. На полу у кроватки валялась серебряная погремушка, обручевский подарок, — та, что Модест швырнул утром. Видно, кто-то подобрал её, сунул к подушке, а она опять соскользнула. Князь поднял её. Погремушка была ледяная, словно пролежала ночь на снегу.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.